

КВЕНТИН  
МЕЙЯСУ

МЕТА  
ФИЗИКА  
И ВНЕ  
НАУЧНАЯ  
ФАНТАСТИКА

2  
lineae

МЕТАФИЗИКА И ВНЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

КВЕНТИН МЕЙЯСУ

2  
lineae

КВЕНТИН  
МЕИЯСУ

МЕТА  
ФИЗИКА  
И ВНЕ  
НАУЧНАЯ  
ФАНТАСТИКА

Перевод с французского  
*Никиты Архипова*



Пермь, 2020

УДК 14:82-3  
ББК 87.1+83.3(0)6  
М45

Редактор издания *А. Шестаков*



**Мейясу, Квентин**

М45 Метафизика и вненаучная фантастика / пер. с фр. Н. Архипова — Пермь : Гиле Пресс, 2020. — 78 с.  
ISBN 978-5-6043581-5-3

В настоящем эссе французский философ Квентин Мейясу развивает тему постоянства/непостоянства законов природы, рассматривая возможные отношения между хаосом и порядком в контексте литературного вымысла и трансцендентальной логики. Сталкиваясь с позициями Юма, Канта и Поппера, Мейясу задается вопросом, что мы имеем в виду, когда говорим о «вымысле вненаучных миров», или о «вненаучной фантастике», и выделяет три типа миров: миры, где возможны и сознание, и наука; миры, где возможно сознание, а наука может быть невозможна; и миры, где невозможны ни сознание, ни наука.

УДК 14:82-3  
ББК 87.1+83.3(0)6

Перевод выполнен по изданию: Meillassoux Q. *Métaphysique et fiction des mondes hors-science*. Paris : Les Éditions Aux forges de Vulcain, 2013

ISBN 978-5-6043581-5-3 © Les Éditions Aux forges de Vulcain, 2013  
Права на издание на русском языке получены при содействии *BooksAgent* (Франция), [www.booksagent.fr](http://www.booksagent.fr)  
© Издательство «Гиле Пресс», издание на русском языке, 2020  
© Н. А. Архипов, перевод на русский язык, 2020

# Метафизика и вненаучная фантастика<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Настоящий доклад был прочитан 18 мая 2006 года в Высшей Нормальной школе (*l'École normale supérieure*) в рамках конференции «Метафизика и научная фантастика».

**В** ходе этого доклада я хотел бы осветить различие между двумя режимами вымысла, которое кажется мне важным с метафизической точки зрения. Эти два режима вымысла затрагивают экспериментальные науки, и для их наименования я пользуюсь двумя терминами, один из которых общеизвестен — научная фантастика, а другой придуман мною самим — «вымысел вненаучных миров», или «вненаучная фантастика» [*fiction (des mondes) hors-science*]\*. Сокращенно: НФ и ВНФ.

- \* Оригинальное выражение, фигурирующее и в названии этой книги, содержит игру слов. Дословно его можно перевести как «вымысел (миров) вне науки», где «вне науки» в равной мере относится и к вымыслу (это значение передается вариантом «вненаучная фантастика»), и к вымышленным мирам. — *Под звездочками здесь и ниже приводятся примечания переводчика.*

Прежде чем обратиться к смыслу этого различия, я хотел бы сделать одно уточнение во избежание недопонимания и возможных возражений. Я предложу достаточно общее и банальное определение научной фантастики, чтобы четко отделить ее от того, что я называю вненаучной фантастикой. Но, когда я дам объяснение двух этих понятий, вы, возможно, решите, что литературный жанр, который мы называем научной фантастикой, включает в себя и вненаучную фантастику, что примеры романов ВНФ существуют в самой НФ и что, следовательно, сам жанр НФ противоречит тому различию, которое я предлагаю. Однако моя цель состоит не в том, чтобы отвести это возражение, а, скорее, в том, чтобы выдвинуть некоторое концептуальное различие и продемонстрировать его важность с философской точки зрения. Исходя из этого, верно одно из двух: либо в литературе о будущем нет ВНФ-романов и жанр «научная фантастика» сам по себе подтверждает предложенное концептуальное различие, либо они есть в этой литературе. Во втором случае мой тезис заключается в том, что ВНФ-романы, если они существуют — и даже если они входят в жанр НФ, — на самом деле относятся к режиму вымысла, глубоко отличному от научной фантастики, а потому должны быть специфицированы: ВНФ-романы образуют в некото-

ром смысле «жанр в жанре», «царство в царстве».

## 1. Вненаучная фантастика и научная фантастика

Перейдем к изучению различия между научной и вненаучной фантастикой.

В научной фантастике отношение вымысла к науке в общем виде представляется следующим: воображается некое вымышленное будущее науки, которая модифицирует — и часто приумножает — свои возможности познания и овладения реальностью. Отношение человека к миру оказывается измененным в силу модификации научного познания, которое открывает перед ним невиданные возможности. Таким образом, в рамках научной фантастики будущие возможности, сколь бы резкие перемены ни были с ними связаны, удерживаются на орбите науки. Всякая научная фантастика имплицитно подтверждает аксиому: в прогнозируемом будущем *по-прежнему* будет существовать возможность подчинять мир научному познанию. Наука преобразится благодаря своим новым возможностям, но останется наукой. Этим, конечно, и объясняется само название жанра: фантастика может доходить до любых крайно-

стей, но только в рамках науки, которая остается на своем месте, пусть и меняясь до неузнаваемости.

А что мы имеем в виду, когда говорим о «вымысле вненаучных миров», или о «вненаучной фантастике»? Употребляя термин «вненаучные миры», мы говорим не о мирах, лишенных науки, то есть не о мирах, в которых экспериментальных наук фактически не существует, — например, о таких мирах, где люди не выработали — вообще или еще — научного отношения к реальности. Мы понимаем под вненаучными мирами такие миры, где *экспериментальная наука невозможна де-юре*, а не просто неизвестна *де-факто*. Вненаучная фантастика определяет особый режим воображаемого, в котором мыслятся миры, структурированные — или, скорее, деструктурированные — так, что экспериментальная наука не может ни разворачивать в них свои теории, ни конструировать свои объекты. Вненаучную фантастику направляет следующий вопрос: каким должен быть, на что должен быть похож мир, чтобы он был *де-юре* недоступен научному познанию, не мог стать объектом некоей науки о природе?

В этой лекции я попытаюсь придать строгое концептуальное содержание этому определению вненаучных миров, которое пока остается самым общим определением от противоположного.

В то же время я попробую показать, какую глубоко умозрительную пользу может принести, с одной стороны, осознание различия между научной фантастикой и вненаучной фантастикой, а с другой — развитие того отличного от НФ типа воображаемого, каковым является ВНФ.

Зачем поднимать подобные вопросы? Я заинтересовался вненаучной фантастикой потому, что она стоит у истоков одной давно известной метафизической проблемы, над которой я уже долгое время работаю, — проблемы индукции или, точнее, проблемы необходимости законов природы в том виде, в каком ее сформулировал Дэвид Юм в «Трактате о человеческой природе», а затем в «Исследовании о человеческом разумении». Эта проблема, суть которой я вскоре напомню, оказалась, как мне кажется, истолкована совершенно превратно одним из наиболее значительных эпистемологов XX века Карлом Поппером. В самом деле, Поппер кичился, что первым назвал проблему индукции «проблемой Юма»<sup>2</sup>, и утверждал, что нашел строгое и оригинальное решение этой пробле-

<sup>2</sup> *Поппер К.* Объективное знание: Эволюционный подход / пер. с англ. Д. Лахути. М.: Эдиториал УРСС, 2002. С. 12 и прим. 1.

мы. Я первым делом покажу, что непонимание Юма Поппером связано как раз с тем, что Поппер не видел различия между проблемой ВНФ и проблемой НФ. Поппер поставил под видом проблемы Юма другую проблему, задействующую другой тип воображаемого: если Юм, с моей точки зрения, задействует в постановке своей проблемы воображаемое ВНФ, то проблема, поставленная Поппером, может быть помыслена лишь с помощью воображаемого НФ.

Затем я рассмотрю решение, данное проблеме Юма Кантом в «Критике чистого разума», а точнее — в рассуждении об объективной дедукции категорий. Кант, в отличие от Поппера, верно понял суть проблемы Юма и дал ей решение, не выходящее за пределы ее территории, — территории, которая определяется измышлением такого мира, где наука стала невозможной. Однако тезис Канта я тоже подвергну критике и покажу, что слабость трансцендентальной дедукции проистекает главным образом из недостаточно развитого, в некотором роде слишком ограниченного, понимания вненаучного воображаемого. И наконец, я покажу, что уточненное понимание вненаучного вымысла позволит дать третий ответ на проблему Юма, отличный как от ответа Поппера, так и от ответа Канта.

## 2. Две бильярдных партии: Юм и Азимов

### а) Постановка проблемы

Самый знаменитый текст, в котором Юм ставит проблему каузальной необходимости, содержит описание воображаемой бильярдной партии, в ходе которой законы импульса перестают подтверждаться. Вот пассаж, взятый из «Исследования о человеческом разумении»:

Если я вижу, например, что бильярдный шар движется по прямой линии к другому, и если даже, предположим, мне случайно приходит в голову, что движение второго шара будет результатом их соприкосновения или столкновения, то разве я не в состоянии представить себе, что сотня других событий может точно так же быть следствием этой причины? Разве оба этих шара не могут остаться в абсолютном покое? Разве не может первый шар вернуться по прямой линии назад или отскочить от второго по какой угодно линии или в каком угодно направлении? Все эти предположения допустимы, и их можно представить. Почему же мы станем отдавать предпочтение лишь одному из них, хотя оно не более допустимо и представимо, чем другие? Все наши априорные рас-

суждения никогда не в состо-янии будут дока-  
зать нам основательность этого предпочтения<sup>3</sup>.

Вопрос, который Юм поднимает, перебирая эти воображаемые сцены, заключается в следующем: что дает нам надежную гарантию и вместе с тем убеждение в действии физических законов спустя мгновение, при том что ни опыт, ни логика не позволяют рассчитывать на него с полной уверенностью. Ведь нет никакого логического противоречия в предположении, что в будущем законы изменятся, и никакой опыт их постоянства в прошлом не позволяет заключить, что оно сохранится в будущем. С одной стороны, действительно, не было бы никакого противоречия, если бы до момента  $t$  природа подчинялась ряду физических констант, а в момент  $t+1$  перестала им подчиняться. Сущность является противоречивой лишь в том случае, если она одновременно и с одной точки зрения есть  $a$ , и  $не-a$ . Но если сущность пребывает в состоянии  $a$  (природа, повинующаяся известным законам), а затем — в состоянии  $не-a$  (природа, не повинующаяся известным законам), то логике нечего на это возразить. Поэтому гипотезу о том, что природа могла бы под-

<sup>3</sup> Юм Д. Исследование о человеческом разумении / пер. с англ. С. Церетели // Юм Д. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 25.

чиняться иным константам, нежели те, которые уже описаны, нельзя априори отвести как логически несостоятельную. А если мы не можем отвести некую гипотезу априори (то есть безотносительно к опыту, посредством чистого рассуждения), нам остается лишь возможность отвести ее апостериори, то есть через обращение к опыту. Но опыт по определению может свидетельствовать лишь о настоящем (о том, что является предметом моего опыта сейчас) и о прошлом (о том, что уже было предметом моего опыта): никакого опыта будущего не существует. В таком случае как можно основать на опыте уверенность в том, что природа и завтра будет повиноваться известным константам так же, как это происходит сегодня? Здесь, несомненно, последует возражение: ведь наука как раз и позволяет нам предсказывать некоторые будущие явления, как предсказывает затмения астроном, и ее предсказания многократно подтверждались во множестве областей, что делает разумным наше доверие к тем предсказаниям, которые еще не подтверждены. Однако подобные предсказания всегда опираются на гипотезу, согласно которой нынешние законы ничем не отличаются от законов будущего. Это, собственно, и нужно доказать. Даже если до настоящего времени законы природы остаются постоянными (меняются только теории, относя-

щиеся к этим законам, но не их принципиальная реальность), ничто в опыте — опять-таки текущем или прошедшем — не дает нам уверенности, что так будет происходить и впредь. Ничто не дает мне уверенности в том, что завтра, или вскоре, или в следующее мгновение природа не примется творить невесть что, как это происходит в бильярдной партии Юма, которая опровергает всякую теорию и всякий возможный эксперимент. Ничто — скажут, возможно, — кроме «здорового смысла». Но что это за «здоровый смысл», если он не опирается ни на логику, ни на опыт?

Вопрос, таким образом, в следующем: оправдана ли наша уверенность в наличии некоей устойчивой природы? А если нет, то откуда может проистекать та субъективная убежденность, что позволяет нам в повседневной жизни столь твердо рассчитывать на постоянство реальности в будущем? Сам Юм, как известно, полагал, что только *привычка* к эмпирическим константам в прошлом убеждает нас в том, что будущее будет похожим на прошлое, хотя в основе подобного мнения и нет ничего рационального. Иными словами, вместо доказательства наличия причинной необходимости философ-скептик довольствуется разоблачением психологических истоков нашей уверенности в ее наличии. Такое решение не удовлетворило тех, кто

после Юма попытался в свою очередь ответить на этот вызов, брошенный разуму, — прежде всего Канта, а затем — Поппера.

Начнем с ближайшего к нам по времени решения, предложенного Карлом Поппером в его классическом труде «Логика научного исследования»<sup>4</sup> и углубленного им в дальнейших работах.

В принципе это очень простое решение. Если бы мы спросили у Поппера, откуда у нас берутся гарантии, что юмовский бильярдный шар не поведет себя фантастическим образом, описанным выше, он бы ответил, что таких гарантий нет и, более того, их отсутствие является благом, так как в подобной возможности нет ничего фантастического и она должна быть воспринята всерьез. В самом деле, для Поппера наши предвидения по поводу будущего представляют собой теоретические гипотезы, которые по природе своей могут быть фальсифицированы новым, то есть еще не описанным, опытом. Научность теории обеспечивается, согласно Попперу, именно тем, что она де-юре опровержима опытом. Эта принципиальная фальсифицируе-

<sup>4</sup> Поппер К. Логика научного исследования / пер. с англ. В. Брюшинкина и А. Никифорова // Поппер К. Логика и рост научного знания; Избранные работы. М.: Прогресс, 1983. С. 33–235.

мость научных предположений и объясняет динамизм экспериментальной науки, ее непрерывное движение, в ходе которого физики выдвигают новые гипотезы, опровергают старые и подвергают безжалостным проверкам соперничающие между собой теории. Утверждая это, Поппер противостоит «индуктивизму», который пытается установить окончательную истинность теории путем умножения ее эмпирических «верификаций». На самом деле, скольким бы экспериментальным верификациям мы ни подвергали теорию, она всегда может быть опровергнута новым опытом или превзойдена новой теорией, которая окажется более эффективной и вычертит новую карту физических возможностей. Следовательно, невозможно утверждать «именем физики», что то или иное событие абсолютно невозможно: оно является таковым лишь с точки зрения текущего состояния науки, тогда как для того, чтобы судить о будущем, у нас нет никаких оснований.

А если так, то бесполезно вслед за Юмом и последующими эмпиристами задаваться вопросом об источнике нашей убежденности в том, что завтра солнце взойдет снова, что всякое живое существо умрет или что хлеб питателен. Ничто не может и не должно убеждать нас в этом по той простой причине, что все это

вовсе не является необходимым и, более того, имеет место не всегда.

В «Объективном знании» Поппер утверждает, что три типичных примера «установленных законов» в действительности опровержимы: закон, в соответствии с которым солнце восходит раз в двадцать четыре часа, был опровергнут Пифеем из Массалии, когда в полярных регионах он обнаружил «замерзшее море и полночное солнце»; закон, в соответствии с которым всякое живое существо обречено на смерть, был опровергнут, «когда мы обнаружили, что бактерии не умирают, поскольку размножение делением не есть смерть»; закон, согласно которому хлеб питателен (один из любимых примеров Юма) был опровергнут, когда «люди, ежедневно питаюсь хлебом, умирали от отравления спорыньей»<sup>5</sup>.

Таким образом, если вернуться к бильярдным шарам, с точки зрения Поппера, следовало бы сказать, что в будущем они могут повести себя неожиданным образом либо в силу изменения условий опыта, например, если они будут покрыты металлом и помещены в сильное магнитное поле, либо в силу открытия возможности менять с помощью научных методов, которые

<sup>5</sup> Поппер К. Объективное знание. С. 21.

пока нам недоступны, гравитационное поле, в котором они движутся.

Итак, принцип решения проблемы Юма, предложенный Поппером, таков: всякое событие, каким бы странным оно ни казалось, совместимо с нынешним или будущим состоянием науки. Никакое событие не может быть исключено с точки зрения разума, будь то разум логики или разум экспериментальной науки.

Почему я считаю, что такое решение равносильно искажению истинной проблемы, которую сформулировал Юм в «Исследовании о человеческом разумении»? Прежде всего отметим, что решение Поппера целиком и полностью пребывает в рамках воображаемого, гомогенного воображаемому НФ. В самом деле, что, собственно, предлагает нам допустить фальсификационизм в отношении научных теорий? Что в будущем эти теории, возможно, будут опровергнуты другими, в настоящее время немыслимыми. Примеры таких опровержений, приводимые Поппером, очевидно принадлежат прошлому, но принцип его эпистемологии состоит в том, что она проецирует в будущее возможность разрывов, столь же радикальных, как те, которые происходили ранее, как, например, в том случае, когда ньютоновская динамика утратила силу перед лицом таких революционных и невиданных для XVIII века теорий,

как общая теория относительности и квантовая физика. Хотя мы не можем знать и даже предполагать, какими будут физика или биология будущего, нам следует согласиться с возможностью появления экспериментальной науки, настолько же непохожей на нынешнюю науку, насколько она сама непохожа на науку предшествующих столетий. Чтобы принять эпистемологию Поппера, нужно, в сущности, представить себе научную фантастику, но только неопределенную научную фантастику, которая не изобретает позитивное содержание науки будущего, а лишь довольствуется признанием возможности того, что в будущем это содержание окажется совершенно иным по сравнению с нашим нынешним знанием.

В чем же Поппер искажает Юма? На самом деле Поппер ставит следующую проблему: могут ли наши *теории* быть опровергнуты в будущем новыми экспериментами? Его проблема, таким образом, имеет *эпистемологический* характер: она относится к природе научного знания. Она не является онтологической, в отличие от проблемы Юма, которая относится не просто к устойчивости теорий, но к устойчивости самих *процессов*, самих физических законов. Эту онтологическую проблему Поппер не рассматривает в рамках своего фальсификационизма. Действительно, он говорит, что новый опыт

может опровергнуть наши теории, но не допускает сомнения в том, что старые и уже описанные эксперименты всегда будут приводить к тем же результатам, что и прежде. Согласно Попперу, в строго идентичных обстоятельствах и эксперименты всегда будут оставаться идентичными: лишь новые обстоятельства могут привести к неожиданным результатам. Это ясно видно из приводимых им примеров: только вблизи полюсов солнце перестает всходить каждые двадцать четыре часа и только в силу наличия смертоносного грибка хлеб перестает быть питательным и становится ядовитым. В неизменных обстоятельствах мы никогда не увидим, согласно Попперу, как Солнце уклонится от гравитации и «совершит прогулку» за пределы системы, которая носит его имя; мы никогда не увидим, как хлеб, идентичный по своему составу тому, которым мы питаемся, без видимых причин станет ядом для того, кто его съест. Ведь, если бы дело обстояло иначе, то вместо науки, способной совершить революцию в своих теориях, чтобы адаптироваться к новому опыту, у нас осталась бы лишь экспериментальная наука, которую сделает невозможной крушение самих физических законов. Если бы феномены в идентичных условиях вызывали совершенно разные и всякий раз непредсказуемые эффекты, то сама идея верификации или — в тер-

минологии Поппера — «подкрепления» теорий экспериментальным методом оказалась бы уничтожена, так как она всегда покоится на воспроизводимости одних и тех же экспериментов в идентичных обстоятельствах. В самом деле, научный эксперимент никогда не сводится к единичному наблюдению, с которым ученые соглашаются в силу того, что его свидетель считается надежным: он предполагает принципиальную возможность воспроизвести наблюдение в любой лаборатории при соблюдении протокола. Даже статистические законы опираются на известное постоянство результата, которое позволяет получить в идентичных условиях эксперимента если не тот же эффект, то по крайней мере ту же серию вероятностей постоянного набора эффектов. Если никакого постоянства результатов для идентичных экспериментов не предусматривается, то рушится сам принцип экспериментирования — намеренное воспроизведение феномена в одних и тех же условиях, а вместе с ним и возможность наук о природе, будь их теории детерминистскими или пробабилистскими<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> В «Логике научного исследования» (глава X. С. 193–194) Поппер ясно показывает различие между своей проблемой — тем, что теории могут быть «фальсифицированы новыми экспериментами», — и другим вопро-

## b) Преступление профессора Присса

Эта гипотеза будущего мира, в котором сама наука станет невозможной, как раз и является истинной проблемой Юма. А проблема Поппера, касающаяся гарантии наших теорий, — это проблема, существующая в рамках вымысла, который исходит из того, что в будущем всегда будет возможна наука. Проблема Юма приводит в действие другое воображаемое, воображаемое *вненаучной фантастики* — вымысла о будущем мире, который стал слишком хаотичным, чтобы какая бы то ни было научная теория могла соответствовать реальности. Нетрудно понять, что это различие между двумя режимами вымысла — НФ и ВНФ — вплотную касается метафизики, так как его непризнание Поппером привело к смешению поставленной

сом, который он именует «вопросом об неизменности естественных процессов». Этот вопрос касается возможности изменения *природных* закономерностей, а не теорий, то есть, в нашей терминологии, это и есть *истинная* проблема Юма. И Поппер подчеркивает, что этот вопрос находится вне компетенции фальсификационизма и вытекает из «метафизической веры», без которой было бы трудно понять «практическую деятельность». И это как нельзя лучше подтверждает, что проблема Поппера (фальсифицируемость теорий) никогда не имела реальной связи с проблемой Юма (возможная изменчивость природных процессов).

им эпистемологической проблемы с онтологической проблемой Юма.

Чтобы резюмировать различие между проблемой Юма и проблемой Поппера, можно вновь обратиться к примеру с бильярдным шаром, движущимся по странной траектории: согласно Юму, вопрос заключается в том, каковы гарантии того, что шар не приобретет не просто неожиданную траекторию, но такую траекторию, которую вообще нельзя ни предсказать, ни смоделировать, так как она ускользает не только от всякого описанного ранее закона, но и от любого закона, который может быть описан; согласно же Попперу, вопрос заключается в том, каковы гарантии того, что в неопределенном будущем новые, сопряженные с еще не описанными законами обстоятельства не сделают возможными для шара траектории, абсолютно непредсказуемые в рамках нынешнего знания, но де-юре предсказуемые в рамках будущего состояния науки. Первый вопрос находится вне пределов научной фантастики, а второй принадлежит ей целиком и полностью.

Существует научно-фантастический текст, который идеально иллюстрирует это различие, как будто именно с такой целью он и был написан. Речь идет о рассказе Айзека Азимова под названием... «Бильярдный шар». Этот рассказ

заключает сборник «Детективы Азимова»<sup>7</sup>, замысел которого состоит в комбинации научно-фантастических и детективных сюжетов. Так, «Бильярдный шар» представляет собой историю умышленного убийства, которое, возможно, было организовано гением теоретической физики и специалистом в области общей теории относительности, — убийства, совершенного с помощью бильярдного шара. Как мы увидим, вся интрига рассказа вертится вокруг неожиданной траектории бильярдного шара, но ее сердцевина — и это для нас самое главное — приобретает смысл лишь в том случае, если рассматривать эту неожиданность в рамках проблематики Поппера, то есть в контексте научно-фантастического воображаемого, а не в контексте ВНФ, связанном с проблематикой Юма.

Напомним сюжет рассказа. Повествователь, научный журналист, признается в своих заметках, что он подозревает профессора Джеймса Присса, величайшего ученого своего времени, в убийстве. В связи с этим он описывает следующие события: Джеймс Присс, чья слава в науке

<sup>7</sup> Также он входит в другой сборник Азимова — «Сны роботов» (рус. пер.: Азимов А. Бильярдный шар / пер. с англ. В. Тельникова // Азимов А. Сны роботов. М.: Эксмо, 2007. С. 453-482).

превосходит славу всех его современников, при жизни всегда оставался в тени Эдварда Блума, его товарища и однокурсника, который, будучи лишенным всякого таланта к теоретической физике, оказался гением в практическом применении самых абстрактных теорий своего времени и, в частности, теорий Присса. Блум — это своего рода сверх-Эдисон, снискавший благодаря своим удачным и выгодным изобретениям огромные богатство и славу, тогда как известность Присса оставалась узкой, не выходила за пределы научного сообщества. Между Приссом и Блумом завязалось скрытое соперничество, подогреваемое взаимной завистью: каждый из них тайно желал именно такого признания, которое досталось другому. Выражением этого соперничества стали еженедельные бильярдные партии, которые Присс и Блум — имевшие репутацию грозных игроков — традиционно разыгрывали еще с молодости.

Враждебность, скрытая за внешне учтивыми и дружескими отношениями, прорвалась, когда Блум решил применить на практике разработанную Приссом теорию антигравитационного поля. В этой теории, которая принесла Приссу вторую Нобелевскую премию, доказывалась возможность полностью устранить действие гравитации, противопоставив ей электромагнитное поле, способное ее нейтрализовать.

Однако, по мнению Присса, эту возможность, вполне реальную в теории, нельзя было реализовать на практике, так как для этого потребовалось бы бесконечно сильное и, следовательно, технически недостижимое электромагнитное поле. Блум возразил, заявив, что ему удастся создать антигравитационное устройство и без подобного условия. Обстановка стала накаляться, на кону стояла репутация обоих ученых, а по прошествии года Блум объявил, что преуспел в своем начинании, и пригласил прессу, а также телерепортеров со всего мира на первую демонстрацию своего успеха. Профессор Присс тоже получил от него коварное предложение публично засвидетельствовать невероятное воплощение своей блестящей теории.

Как только приглашенные собрались, Блум предложил им пройти в лабораторию, где располагалось устройство, которое привело всех в изумление. В центре комнаты, заполненной аппаратурой, стоял бильярдный стол, а в центр этого стола падал вертикальный луч света. Блум пояснил: он еще не проверял свое антигравитационное излучение на материальном объекте, хотя и уверен, что оно сработает. Дело в том, что он хотел предоставить честь сделать это Приссу, направив в сторону луча бильярдный шар. Верх коварства: под прикрытием чести,

оказанной ученому, обречь его, Присса, на роль посмешища в глазах всего мира, когда он воспользуется любезно отданным ему правом первого удара в бильярдной партии, которая навсегда оставит его проигравшим. По замыслу Блума, зрители должны были увидеть, как шар, утратив вес под действием луча, медленно поднимется по его линии вверх. Все участники были в темных очках, которые защищали их глаза от распространяемого лучом света, и не увидели, какое выражение появилось на лице Присса, когда Блум об этом объявил. Поначалу шокированный, Присс взял себя в руки, подошел к столу, не спеша прицелился, ударил по шару, и тот, описав сложную траекторию с отскоком от борта стола, вошел в поле светового луча. Раздался грохот, перепугавший публику, а затем, когда все успокоилось, Блум был обнаружен мертвым, с зиявшим в груди отверстием, которое, по всей видимости, было пробито бильярдным шаром.

Итак, произошло нечто совершенно неожиданное: шар принял траекторию, странную не только с точки зрения нашей физики, но и с точки зрения вымышленной физики Присса и Блума. Если бы этот рассказ относился к традиции Юма, то есть к вненаучной фантастике, то больше об этом странном событии сказать было бы нечего и мы так и остались бы заинтригованны-

ми описанной историей. Но, к счастью, Азимов работал в жанре научной фантастики — в попперовской традиции, — поэтому интрига получает блистательную развязку. В конце рассказа Присс объясняет в научных терминах причину этой катастрофы, которую он не смог предугадать просто потому, что его мысль, как все хорошо знали, работала медленно. Взрыв, говорит Присс, был вызван тем, что объект, свободный от всякой гравитации, не может вести себя спокойно, подобно объекту, пребывающему в невесомости, а может лишь перемещаться со скоростью объекта, лишенного массы, то есть фотона, — со скоростью света. Рассказ завершается встревоженным вопрошанием журналиста-повествователя: а что, если угроза крушения репутации Присса на глазах у всех заставила его единственный раз в жизни мгновенно предсказать ход событий, не теряя времени на расчеты траектории, которую должен принять бильярдный шар, чтобы навсегда отомстить его сопернику?

Как видите, рассказ работает именно потому, что он относится к попперовскому типу — основывается на том, что событие, неожиданное де-факто, не было неожиданным де-юре, так как его объясняет физический закон. В самом деле, смысловым узлом рассказа является не допускающая проверки возможность того, что

Присс действительно предвидел ход событий. Это предвидение должно быть возможным, чтобы рассказ работал, а значит, событие должно подчиняться некоему теоретическому закону, пусть даже нет и никогда не появится возможности выяснить, успел ли ученый понять этот закон достаточно быстро для того, чтобы совершить преступление.

Если теперь выйти за пределы рассказа Азимова, то вырисовывается более общий вывод, касающийся на сей раз собственно литературной ценности значения двух наших режимов вымысла: по всей видимости, только научная фантастика допускает построение связного при всей своей фантастичности сюжета, повествования. Действительно, в научной фантастике мы, как правило, попадаем в мир, где физика (теоретическая естественная наука) оказывается иной, но физические законы нельзя считать просто-напросто упраздненными, — в мир, где не может произойти все и что угодно в любой момент и каким угодно образом. Иначе говоря, истории могут выстраиваться потому, что мы все еще имеем дело с мирами, — упорядоченными, пусть и согласно иному порядку, тотальностями. Люди могут действовать в них (в данном случае — спланировать убийство), так как они по-прежнему могут предвидеть последст-

вия своих действий. Напротив, во вненаучной фантастике, как кажется, не может быть установлен абсолютно никакой порядок и, следовательно, не может быть выстроена никакая история. Будь это верно, не было бы смысла вообще говорить о вненаучных *мирах*, так как мир, который не оставлял бы места науке, был бы уже не миром, а чистейшим хаосом, чистейшим, ничем не упорядоченным разнообразием. В этом, собственно, и состоит тезис Канта, а также его решение проблемы Юма: если бы законы не были необходимы, — утверждает автор «Критики чистого разума», — то не могло бы возникнуть никакого мира и никакого сознания, не могло бы возникнуть ничего кроме бессвязного и никак не развивающегося разнообразия [le divers]. Но мы попытаемся показать, что этот кантовский тезис можно все же оспорить, так как вненаучный мир и даже множество таких миров на самом деле представимы без необходимой «бессвязности». Иначе говоря, мы попытаемся оправдать и метафизическую ценность этих миров — показав, что они суть миры, возможность которых нельзя отрицать, и их литературную ценность — показав, что они могут служить средой для вымышленной интриги.

### 3. Трансцендентальная дедукция и три типа миров ВНФ

#### а) Кантовское опровержение фантастического бильярда

Ответом Канта на вызов Юма служит в «Критике чистого разума» момент «трансцендентальной дедукции», а в нем — рассуждение об «объективной дедукции категорий». Пересказать здесь это рассуждение в деталях не представляется возможным, поэтому я ограничусь кратким изложением его общей стратегии<sup>8</sup>.

«Дедуцировать» категории рассудка означает в терминологии Канта узаконить их приложение к опыту. Законность такого приложения не подразумевается сама собой просто в силу того, что категории представляют собой «уни-

<sup>8</sup> В первом издании «Критики чистого разума» (1781) рассуждение об объективной дедукции категорий сосредоточено в разделе 3 главы II. Во втором издании той же Критики (1787) она располагается в параграфах 15–24 раздела 2 той же главы II, главным образом в параграфах 20–21. Я цитирую Канта по переводу Алена Рено (Flammariion, 2001) с указанием пагинации обоих оригинальных изданий первой Критики. Построчный комментарий к рассуждению Канта об объективной дедукции категорий 1781 года можно найти в издании: *Rivelaygue J. Leçons de métaphysique allemande. T. II. Paris: Grasset, 1992. P. 118–124.*

версальные формы» — например, причинность (из одних и тех же причин всегда вытекают одни и те же следствия), а опыт преподносит нам только частные ситуации. И дедукция категории «причинности» (нас здесь интересует именно она, хотя Кант указывает и одиннадцать других) сводится к разрешению проблемы Юма, так как она требует показать, что в одних и тех же обстоятельствах определенные причины универсальным образом влекут за собой одни и те же следствия. Иначе говоря, Кант хочет узаконить нашу веру в необходимость физических законов, но не таким путем, каким это сделал бы спекулятивный метафизик, подобный Лейбницу. Лейбницианец в ответ на вызов Юма, несомненно, заявил бы, что можно доказать существование мудрого Бога, которому «пришлась по сердцу» идея сотворения и сбережения лучшего из возможных миров — нашего. В таком случае постоянство нашего мира обеспечивалось бы непреложной мудростью верховного существа. Кант, как известно, не идет этим путем, так как в принципе отвергает всякую спекулятивную мысль, опирающуюся на некую абсолютную истину. Его стратегия состоит, скорее, в доказательстве постоянства физических законов природы *от противного*.

Полагаю, можно представить дело следующим образом: Юм спрашивает, на основании

чего мы исключаем вероятность того, что бильярдные шары будут в силу простого непостоянства физических законов двигаться по фантастическим траекториям, которые он предлагает вообразить. Принцип кантовского ответа состоит в следующем: да, мы можем вообразить описанную Юмом сцену, но мы никогда не сможем ее увидеть, так как условие ее возможности — контингентность законов природы — сделало бы невозможным всякое восприятие и осознание объекта. Действительно, сцену с юмовскими шарами делает вообразимой именно то, что «декорации», на фоне которых резвятся шары, остаются в высшей степени устойчивыми: бильярдный стол, заполненная дымом комната, где собираются игроки, а также они сами — весь контекст бильярдных шаров опровергает гипотезу контингентности законов природы. Более того, он свидетельствует об устойчивости окружающего шары мира — природы, неукоснительно подчиняющейся законам. А ведь если бы законы природы дали сбой в случае шаров, то они дали бы сбой вообще, и, следовательно, мир рухнул бы, а вместе с ним рухнуло бы и всякое субъективное представление о нем.

Таким образом, изъян рассуждения Юма состоит, согласно Канту, в разделении условий науки и условий сознания. В самом деле, Юм преподносит нам ситуацию, в которой мы осоз-

наем мир, где наука становится невозможной. Мир, где мы, как кажется, по-прежнему можем воспринимать объекты — столы, шары, но эти объекты ведут себя как им заблагорассудится, не подчиняясь научным теориям. Однако для Канта сознание без науки есть крушение рассудка: сознание не может продолжать существовать в отсутствие науки, то есть в отсутствие мира, который может быть познан научными методами. А значит, подобное крушение науки и законов природы не может в один прекрасный день *явиться* нашему взору: мы никогда не увидим воочию юмовскую «сцену бильярда» не потому, что наш мир вообще не может однажды рухнуть (только представитель спекулятивной метафизики может настаивать на абсолютной невозможности этого), а потому, что крушение этого мира *ipso facto* означало бы крушение всякой формы мира и всякой формы сознания, способного лицезреть подобный спектакль.

Далее мы попытаемся восстановить не букву аргументации Канта, но, как нам представляется, ее дух, раскрывающийся в следующей последовательности рассуждений:

1. Предположим, что законы больше не управляют тем, что дано нашему опыту, и вещи утратили постоянство. В таком случае наука стала бы невозможной, но мы не могли бы этого заметить, а могли бы в лучшем случае это вооб-

разить. Ведь различие между восприятием и грезой, согласно Канту, проходит исключительно — таково следствие кантовского идеализма — через различие между объектами, которые подчиняются физическим константам, и объектами, которые от них уклоняются. Поскольку я никогда не имею дела с вещами в себе, а имею дело лишь с представлениями, различие между объективными представлениями (плодами моего опыта) и представлениями химерическими (плодами моего воображения) сводится к различию между представлениями, которые повинуются категориям (и, следовательно, порядку причинности), и представлениями, которые не повинуются ничему кроме произвольной последовательности (грезам без понятия). Если бы природные объекты перестали подчиняться причинной связи, то все приобрело бы характер сна и мы никоим образом не могли бы быть уверены, что действительно — а не во сне или воображении — видим нечто странное.

Вот первый этап рассуждения, который может быть проиллюстрирован знаменитой сценой сновидения о киновари из раздела, посвященного субъективной дедукции<sup>9</sup>. Вот что там пишет Кант:

<sup>9</sup> Если объективная дедукция устанавливает приложимость категорий к опыту, то субъективная дедукция

Если бы киноварь была то красной, то черной, то легкой, то тяжелой, если бы человек принимал образ то одного, то другого животного, если бы в самый длинный день в году земля бывала покрыта то плодами, то льдом и снегом, тогда мое эмпирическое воображение не имело бы даже и повода мысленно воспроизводить при представлении о красном цвете тяжелую киноварь...<sup>10</sup>

Нужно подчеркнуть, что подразумеваемое здесь Кантом воображаемое, внутри которого всякая вещь приобретает характер грезы, гомогенно тому, к которому обращается Юм в своей сцене бильярда, — вненаучному воображаемому (или воображаемому ВНФ). Как я уже сказал, Кант не допускает ошибки, которую допустит Поппер: он не принимает проблему вненаучной фантастики за проблему научной фантастики. Он сходится с Юмом на его территории — в реальности, лишенной законов, — и противопоставляет этой реальности свою собственную идею хаоса. Хаос против хаоса, киноварь против бильярда:

исследует, каким образом — посредством каких способностей и инстанций — осуществляется это приложение.

<sup>10</sup> *Кант И.* Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 702.

первой жертвой кантовского хаоса является восприятие, которое становится неотличимым от фантазии.

2. Однако кантовский хаос оказывается еще более интенсивным, чем в сцене с киноварью, а значит, и более интенсивным, чем в юмовской сцене бильярда. Ведь если бы законы исчезли, то реальность, согласно Канту, не могла бы иметь даже характера грезы, в которой мне еще удастся различать вещи: меняющую обличья киноварь, людей, который превращаются в животных, пейзаж, где за один день проходят все времена года. Реальность же, действительно лишенная закона, была бы слишком нестабильной, чтобы любая из этих сущностей могла бы хотя бы наметиться: всякая сущность распалась бы, едва возникнув, и ничто не успевало бы отличиться ни от чего другого.

3. А коль скоро всякая непрерывная темпоральная форма была бы в результате разрушена, я и сам не мог бы продолжать существовать в форме самосознания, способного пережить это жуткое бедственное зрелище, так как и моя память тоже, в свою очередь, исчезла бы, едва появившись. Все свелось бы к моментальной и всякий раз амнезической интуиции некоей точки хаоса, лишенной наполнения и связи со своим прошлым. Реальность, став столько же малореальной, как и моя греза, а затем — менее

реальной, чем любая греза, всосала бы в свое ничто и самого грезящего об этом изничтожении. Осталось бы одно хаотичное разнообразие, лишенное сознания и устойчивости.

Итак, очевидно, что кантовское доказательство — это доказательство *по факту*: поскольку юмовская контингентность законов, будь она правдой, предполагала бы упразднение представления и мира, сам факт того, что *имеется* представление о некотором мире может служить опровержением гипотезы Юма. И нужно добавить (я к этому еще вернусь), что одновременно с отводом гипотезы контингентности физических законов кантовский подход, как кажется, заведомо лишает вненаучное воображение всякой литературной ценности, так как оно якобы неизбежно сводится к монотонности чистого беспорядка, внутри которого ничто не сохраняется и не отличается ни от чего другого.

## b) Возможность не-кантовских миров

Однако эта ремарка о вненаучном воображаемом сразу выводит нас на след возможного изъяна в самом кантовском решении. Что, в конце концов, мешает нам вообразить куда более устойчивые — а значит, и куда более интересные — вненаучные миры, чем те, что описаны Кантом? Действительно, разве нельзя вообра-

зять миры, не подчиняющиеся необходимым законам, то есть миры, вероятно, неустойчивые, в чем-то склонные вести себя абсурдно, но в целом регулярные, пусть их регулярность и не имеет никакого отношения к необходимым причинным процессам? Иными словами, что позволяет Канту исключить возможность существования миров, которые в общих чертах *де-факто* регулярны, пусть даже их регулярность *приблизительна*, не основана ни на каком универсальном законе? Почему мир без законов непременно должен быть катастрофически непостоянным?

Кант говорит: если бы наш мир не подчинялся никакому необходимому закону, от него бы ничего не осталось. Однако, — хочется ответить ему, — нет никаких оснований для уверенности в том, что мир, не подчиняющийся никаким законам, должен быть скорее хаотичным, чем упорядоченным: он должен иметь возможность быть как тем, так и другим именно потому, что ему невозможно ничего присвоить. По сути дела Кант, как мне кажется, привлекает здесь к делу имплицитный закон, позволяющий ему установить тождество между миром без необходимого закона и радикальным хаосом: это *вероятностный* закон. Кант, очевидно, делает следующее имплицитное умозаключение: если бы некий мир был лишен закона, если бы

любая мельчайшая его частица могла вести себя с равной вероятностью любым возможным образом, было бы величайшей случайностью, если бы в нем установился всеобъемлющий и прочный порядок, подобный порядку природы, которая нас окружает. Но если Кант действительно так думает, ему легко возразить: мир, не подчиняющийся никакому закону, не имеет никаких оснований подчиняться и вероятностному или статистическому закону любого рода. Ничто не должно запрещать ему образоваться внутри себя, в том числе и вопреки любой разумной вероятности, всеобъемлющий порядок, который и сделает его миром, пусть даже отдельные детали смогут в любой момент «выскочить» из этого порядка, подобно юмовским шарам. Отсюда понятно, что изъян трансцендентальной дедукции обусловлен ее недостаточным знакомством с воображаемым ВНФ: более четкое представление о вненаучном вымысле не позволило бы ей исключать как возможность того, что мир в будущем превратится в мир без законов, так даже и возможность того, что мы уже живем в таком мире, хотя его хаотичные детали еще не явились нам во всей очевидности. Если бы Кант имел такое представление, то решение проблемы Юма — вопроса о том, как доказать необходимость физических законов и их устойчивость в будущем, — путем

трансцендентальной дедукции не могло бы показаться ему столь удовлетворительным, каким оно кажется поначалу<sup>11</sup>.

Если теперь мы попытаемся углубить гипотезу вненаучных миров, то действительно увидим, что кантовский тезис, согласно которому наука и сознание имеют одно и то же условие своей возможности — а именно, необходимость законов, — при ближайшем рассмотрении не выдерживает критики, так как мы можем вообразить сколько угодно миров, которые с очевидностью его опровергают.

В самом деле, можно представить себе три типа вненаучных миров, лишь один из которых соответствует описанию Канта, тогда как два других не укладываются в кантовское воображаемое.

а. Мирами «первого типа» мы назовем все возможные нерегулярные миры, нерегулярность которых слишком мала, чтобы пошатнуть науку и сознание. Их, таким образом, нельзя считать вненаучными в строгом смысле слова, так как они еще допускают осуществление науки. И все

<sup>11</sup> Позволю себе отослать к уточненной версии этой критики в 4-й главе моей книги «После конечности» (Мейясу К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности / пер. с фр. Л. Медведевой. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2015. С. 119–166).

же эти миры противоречили бы тезису, согласно которому строгая необходимость законов является условием возможности науки и сознания.

Эти миры допускали бы беспричинные события, но только такие, которые случаются слишком редко и слишком «спазматически», чтобы подвергнуть угрозе науку и сознание: такого рода события могли бы проявляться в наблюдаемых разрывах причинности, но их регулярное воспроизведение было бы невозможно.

Эти миры не угрожали бы науке, так как наука структурно индифферентна к событиям, относительно которых возможно лишь свидетельство, но не протокол наблюдения. Если бы в одном из таких миров кто-либо заявил, что он в течение нескольких минут наблюдал некое аномальное явление, ученым нечего было бы сказать об этом, но не потому, что они непременно усомнились бы в добросовестности свидетеля, и даже не потому, что они могли бы заподозрить в нем сумасшедшего или жертву галлюцинаций, а просто потому, что наука не может ничего поделать с событиями, наблюдение которых не повинуется процедуре, обеспечивающей их воспроизводимость. Даже если бы число свидетельств о физически неправдоподобных событиях росло и даже если представить себе

мир, где эти события действительно были бы абсурдными с физической точки зрения, экспериментальная наука все равно в буквальном смысле не имела бы средств, чтобы что-либо с ними сделать, причем это не подвергало бы ее никакой опасности, так как ее собственная область — воспроизводимый опыт — оставалась бы незатронутой хаосом этого типа. Для науки любое «точечное и беспричинное» явление является либо несуществующим, либо, если его причину пока невозможно установить, не имеющим значения для ее существования.

Не просматривается во всем этом угрозы и для сознания. В мире, где внезапно начали бы происходить абсурдные события, грезы и галлюцинации продолжали бы существовать и отличаться от реальных восприятий. Разумеется, каждый свидетель беспричинного события был бы вправе спросить себя, не спит ли он или не видит ли он галлюцинацию, но у него бы были твердые основания решить, что это не так. Ведь в мирах этого типа — по преимуществу регулярных — он мог бы решить, что контекст события не тождествен ни контексту сна (он не спал и не почувствовал, что проснулся по окончании наблюдения), ни контексту галлюцинации (в этом мире галлюцинация была бы связана с определенными описанными патологиями). Более того, в некоторых случаях он

мог бы прибегнуть к надежному критерию интересу субъектности: ведь эти события могли бы иногда происходить при множестве свидетелей, которые в таком случае служили бы друг для друга гарантиями того, что они не спали. Таким образом, мы жили бы во вселенной, где рядом с неприкосновенной сферой событий «для ученых», которые могут быть искусственно воспроизведены в лаборатории, время от времени случались бы события «для публики» — невозпроизводимые, редкие и тем не менее вполне реальные.

Поскольку некаузальные миры первого типа действительно мыслимы, из этого следует, что строго универсальная приложимость принципа причинности не является условием возможности ни для науки, ни для сознания. И наука, и сознание оставались бы возможными в мире, который умеренно отступал бы от принципа причинности.

б. Миры второго типа — это миры, нерегулярность которых достаточна для того, чтобы упразднить науку, но не сознание. Таким образом, на сей раз мы действительно имеем дело с вненаучными мирами.

В таких мирах уже не было бы событийной сферы, защищенной от акаузального беспорядка. Лабораторные опыты тоже давали бы

там совершенно разные результаты, устраняющие возможность сформировать науку о природе. Однако в мире такого типа повседневная жизнь — вот высшая непоследовательность — все так же могла бы опираться на устойчивые константы, очень относительные, конечно, и все же достаточно сильные для того, чтобы допускать сознательное существование. Это был бы мир, в котором случались бы «вещекатастрофы»\*, внезапные «вылеты с дороги» материальных объектов, — катастрофы, слишком редкие для того, чтобы уничтожить всякую человеческую жизнь, но все же не настолько редкие, чтобы исключить надежное научное экспериментирование. Мир, окраины которого демонстрировали бы причуды — но причуды, не отсылающие ни к какому скрытому замыслу. Мир, в котором нам оставалось бы лишь вести *хронику* происходящего. Там можно было бы сказать, например, — если допустить, что мы пользовались бы словарем наших научных теорий: «в промежутке между такими-то датами

\* В этой части текста автор последовательно развивает метафору «дорожного происшествия» (*accident de route*), или «автокатастрофы», характеризуя с ее помощью режим, в котором существуют вещи во вненаучных мирах второго типа. Поэтому мы переводим выражение «*accident de choses*» как «вещекатастрофа».

„лабораторная“ природа перестала подчиняться принципам относительности и регрессировала к ньютоновской динамике»; или: «в промежутке между такими-то датами, напротив, произошло подлинное „возрождение“ квантовой физики, но главным образом в лабораториях Южного полушария»; и т. п. Таким образом, мы бы не могли выводить универсальные, собственно научные законы из движения природы, а могли бы лишь регистрировать изменения хода вещей — изменения, для описания которых подходили бы самые разнородные (в зависимости от конкретных времени и места) теории.

Однако будем точнее: на самом деле никакой явной нерегулярности никогда не может быть достаточно для доказательства того, что за внешним беспорядком не скрыт никакой подспудный закон. Каким бы ни был этот внешний беспорядок, всегда можно, как подчеркивал вслед за Лейбницем Бергсон, обнаружить в нем некий порядок, ранее не известный или просто не похожий на порядок, которого мы ожидали. Поэтому во вненаучном мире всегда можно было бы вообразить, что за внешним беспорядком природных хроник скрыт некий закон. Но усилия тех, кто в этом мире упорствовал бы в поиске скрытого закона за абсурдными изменениями природы, выглядели бы такими же

несусветными и пустыми, как в нашем мире — усилия тех, кто не оставляет попыток отыскать количественный закон, способный объяснить и предсказать ход человеческой истории.

Если развить предложенную нами метафору «вещекатастрофы», то можно сказать, что во вненаучном мире второго типа мы существовали бы среди объектов примерно как автомобилист среди других автомобилей: всегда могли бы полагаться на разумное поведение природы, но никогда не могли бы исключить и возможности того, что она поведет себя абсурдно, подобно тому как никогда не можем исключить, что встретимся с лихачом, которому наплевать на правила дорожного движения. Подобная природа, способная пуститься виллять по сторонам и все же в целом почти «регулярная», воспитала бы в нас повышенную бдительность. Дорожные происшествия тоже подчиняются статистическим законам, и как раз на их статистику может интуитивно полагаться наша бдительность, пусть даже мы не держим в уме сколько-нибудь точные оценки рисков. Так же дело обстояло бы и в природе вненаучных миров второго типа: она вела бы себя достаточно понятно для того, чтобы можно было сформировать общую эмпирическую статистику ее поведения, позволяющую в ней действовать и жить — пусть и с тягостным чувством неопределенности, так

как общая статистика никогда не бывает избавлена от катастрофических исключений. В общем и целом, природная регулярность была бы в таком мире аналогична социальной регулярности — достаточно устойчивой для повседневного существования и слишком непредсказуемой, чтобы делать точные прогнозы и избегать внезапных катастроф.

Однако, приписывая миру второго типа некоторое «статистическое» постоянство, не признаем ли мы тем самым, вопреки всему, что в нем все еще возможен некий проблеск — пусть частотный, пусть зачаточный — наук о природе? Чтобы аналогия между двумя регулярностями — регулярностью природы вненаучного мира второго типа и регулярностью общества — была более точной и позволяла нам осмыслить мир, непослушный никакой экспериментальной науке, ее следовало бы дополнить историческим измерением. Предположим, что человек конца XVIII века попытался бы оценить приблизительную частоту аварий карет в Париже. Если бы этот человек знал, что в XXI веке число аварий карет в Париже приблизится к нулю, он мог бы сделать из этого вывод, что безопасность конных экипажей стремительно возрастает от века к веку. Все дело в том, что он не мог бы предвидеть, что кареты почти полностью исчезнут, уступив место транспорту, кото-

рого в его время не существовало. Таким образом, социальная регулярность, позволяющая нам в краткосрочной или среднесрочной перспективе полагаться на количественную вероятность поведения других людей, хотя на индивидуальном уровне оно непредсказуемо, сопровождается возможностью значительного исторического изменения, непредсказуемого в более глубоком смысле слова, так как его уже невозможно подчинить никакому количественному закону. И тем не менее подобные эпохальные изменения, не укладывающиеся в причинные законы экспериментального типа, не устраняют социальную регулярность полностью — даже в случае величайших исторических потрясений вроде смены эпох. Подобным образом мы можем сказать, что «люди» вненаучных миров второго типа сталкивались бы со «сменами природных эпох», к которым приводили бы постепенные — но абсолютно непредсказуемые, уклоняющиеся от всяких статистических исследований — трансформации констант повседневности. Только на сей раз — в отличие от исторических изменений, которые все-таки в какой-то степени угадываются заранее, — эти трансформации были бы *полностью* лишены обнаружимых причин: они вводили бы «эпохи» в природу, долгосрочные изменения которой накладывались бы задним числом на кратко-

срочные «содрогания вещей». В таком мире беспричинные события сплетались бы — вне всякой строгой вероятности — в странные зыбкие регулярности, среди которых люди бы, как могли, продолжали свое индивидуальное существование.

Подведем итог: природа, склонная к маргинальным капризам и эпохальным преобразованиям, действительно мыслима — а вместе с нею и *расцепление между условиями возможности науки и сознания*. Мир, в котором исчезли бы условия для науки, не обязательно должен быть миром, в котором точно так же исчезли бы и условия для сознания. Сознание без науки — это еще не гибель мышления.

с. Наконец, вселенная третьего типа, лишенная необходимого закона, уже, по существу, не была бы миром: это была бы вселенная, где беспорядочные изменения происходили бы так же часто, как в примере хаоса, описанного Кантом в его рассуждении об объективной дедукции категорий. Там как условия для науки, так и условия для сознания были бы упразднены.

Таким образом, очевидно, что две из трех вымышленных нами категорий вселенных противоречат трансцендентальной дедукции, причем одна из них конституирует мир, порождаемый

вненаучной фантастикой: это вненаучный мир второго типа, или мир ВНФ-2.

Мир ВНФ-2 интересен по двум причинам. Прежде всего, сама его мыслимость лаконично свидетельствует о неудаче решений проблемы Юма, предложенных Кантом и Поппером: мы по-прежнему не можем опровергнуть с помощью разума возможность существования подобных миров. Поэтому есть чисто спекулятивный интерес в том, чтобы продемонстрировать возможность вненаучной природы, которая побуждает нас заново взяться за осмысление проблемы Юма. В самом деле, кажется очевидным, что обе предшествующие попытки ее решения подтверждают нашу веру в необходимость законов природы и в их устойчивость в будущем. Однако мы обнаружили, что гипотеза контингентности законов природы отнюдь не абсурдна: она мыслима и пока не опровергнута (ни Кантом, ни Поппером). Что в таком случае мешает нам действительно допустить такую возможность? Почему бы не согласиться с тем, о чем говорят нам в один голос логика (принцип непротиворечивости) и опыт (как прошлый, так и настоящий): ничто не запрещает нынешнему миру покоиться на зыбкой почве, которая однажды может уйти у нас из-под ног. Так вырисовывается третий вариант решения проблемы Юма, заключающийся уже не в установлении

того, что не может быть установлено, — необходимости законов природы, а, наоборот, в установлении *действительной контингентности* природных констант и вслед за этим в постановке принципиального вопроса, который отсюда следует: если в мире нет никакой необходимости, то как возможна его, по видимости, непогрешимая регулярность, еще более совершенная, нежели во вненаучных мирах первого типа?

Однако я не буду рассматривать этот вопрос, который разобрал в другом месте<sup>12</sup>, поскольку здесь передо мной стоит иная задача: изучить «литературный» интерес вненаучных миров как миров, которые принадлежат воображаемому иного рода, нежели воображаемое научной фантастики. Можно ли мыслить ВНФ как повествовательный жанр, способный соперничать с научной фантастикой?

#### 4. Вненаучная фантастика и повествование

Могут ли существовать (и при каких условиях) романы ВНФ? Более того, не существуют ли уже такие романы, относимые к «научной фан-

<sup>12</sup> См. 4-ю главу «После конечности».

тастике», но, как я намерен показать, на самом деле принадлежащие воображаемому иного типа?

### а) Три решения

Сложность сочинения романов ВНФ — и причина того, что они, как кажется на первый взгляд, обречены оставаться курьезами, стоящими особняком, — состоит в том, что их отправной точкой служит нечто, обычно исключаемое из повествования: не просто чистый произвол, но произвол, который может в любой момент повториться. Хотя читатель научной фантастики готов мириться с любой фантастичностью постулатов, лежащих в основе романов о будущем, он требует, чтобы в дальнейшем их автор строго придерживался этих постулатов и не вводил в придуманный им мир разрывов, не имеющих ни причин, ни оснований, так как они лишили бы повествование в целом всякого интереса. В самом деле, нужно ясно понимать, что если в некоем мире сбывается гипотеза Юма, значит, в нем существуют события, не вызванные в буквальном смысле *ничем*, — чистые возникновения *ex nihilo*. Ведь придумывается в данном случае такое изменение законов, которое вызвано не другим законом или причиной более высокого порядка: будь так, мы оставались бы в мире, управляемом некими константами,

например физическими и/или некоей специфичной рациональностью — допустим, демиургической, если не сказать божественной. При перенесении в рассказ подобное изменение рассеивает по нему беспричинные цезуры, не объяснимые ходом излагаемых событий. Иначе говоря, онтологически обоснованными и характерными жанровыми признаками становятся промахи, которые обычно списываются на нехватку опыта у рассказчика. Но как же в таком случае — вопреки всему — выстроить историю? И есть ли хоть какой-то интерес в том, чтобы углубляться в приключения, разворачивающиеся в мирах ВНФ-2?

Для начала попробуем точнее определить, каким должно быть повествование в жанре ВНФ. Такое повествование должно удовлетворять двум требованиям: а) наличию событий, которые нельзя объяснить никакой «логикой», будь она реальной или воображаемой; б) присутствию, пусть и в негативной форме, темы науки. Оно должно преподносить нам мир, в котором наука внезапно стала — или становится — невозможной, полностью или частично (в пределах какой-либо дисциплины — химии, физики, биологии и т. п.)<sup>13</sup>. В более радикаль-

<sup>13</sup> Разумеется, было бы абсурдно допускать «частичное» выживание науки несмотря на разрушение одной из

ном варианте это может быть мир, где наука, заведомо неуместная из-за частоты аномальных событий, продолжает преследовать вселенную как некое отсутствие, остро ощущаемое в силу его эффектов. Двух этих особенностей достаточно, чтобы отличать ВНФ от героического фэнтези или от нонсенса в духе Льюиса Кэрролла. Действительно, в двух последних жанрах наука в качестве нехватки не появляется, так как ее заменяет другая логика, другой режим управления явлениями, придающий повествованию насыщенность и внутреннюю связность: в случае фэнтези это волшебство протосредневекового мира, а в романах об Алисе — парадокс и пародия. Но у ВНФ нет этой «гетеродоксальной непрерывности»: она не располагает никакой заменой связности — скорее, наоборот, она вынуждена сама вносить в ткань своих собственных построений ничем не оправданные разрывы, оставаясь при этом обязанной сложить из получающихся обрывков историю.

Как мне кажется, справиться с этой трудностью можно с помощью решений трех типов (впрочем, я не утверждаю, что мой перечень исчерпывающий). Примеры этих решений (по-

ее областей. Утверждать, что наука сохраняется, не сохраняясь целиком, значит признавать, что она потеряла полное крушение, утратив общую связность.

нимать слово *solution* здесь нужно и как «решение», и как «распад связи») я нашел, благодаря эрудиции Тристана Гарсии, в трех романах НФ; правда, они присутствуют там лишь в виде набросков, так как эти романы — именно потому, что они научно-фантастические, — в конце концов возвращают абсурдные, как кажется, события во вновь обретенную причинную логику. Тем не менее эти примеры позволяют представить себе возможность и идею НФ, которую постепенно настолько глубоко пронизает ВНФ, что сюжет в конце концов откажется возвращаться в лоно причинности, как это происходит в примерах, которые я сейчас приведу, и один литературный жанр превратится в другой.

1. Первое решение: можно ввести в повествование один-единственный разрыв, однократную физическую катастрофу, которая внезапно погрузит персонажей в мир, подвергшийся мощному воздействию некоего необъяснимого феномена.

Исходная ситуация такого рода присутствует в романе Роберта Чарльза Уилсона «Дарвиния»<sup>14</sup>: в марте 1912 года Европа вместе со всеми ее жителями за одну ночь исчезает, уступая

<sup>14</sup> *Wilson R. C. Darwinia / trad. Michèle Charrier. Paris: Denoël, 2000.*

место континенту идентичной формы, населенному абсолютно неслыханными растениями и животными, напоминающими альтернативную ветвь доисторической эволюции. Поначалу это событие не поддается никаким научным объяснениям, в частности дарвинистскому — отсюда название «Дарвиния», иронически присвоенное новому континенту. Но в конце концов открывается истинное значение катастрофы: Земля, где произошла описанная подмена, оказывается не настоящей планетой, а ее архивной репликой, которую создала своеобразная галактическая ноосфера — сумма всех живых существ в их наиболее совершенном состоянии, решившая таким образом сохранить в сжатом виде память о своем прошлом перед лицом угрожающей Вселенной тепловой смерти. Именно эта архивная реплика Земли оказалась объектом насильственной модификации в руках враждебной людям машинной формы жизни, задавшей целью подготовить благоприятную почву для своего разрушительного воплощения. Таким образом, персонажи романа оказываются наделенными сознанием элементами архива, чьи данные оказались частично стерты.

2. Второе решение: можно умножить разрывы и создать вариант нонсенса, более близкий к откровенному хохмачеству, чем к изящным

парадоксам в духе Кэрролла. Череда алогичных событий, разыгранных автором в виде абсурдных и неожиданных ситуаций, может оказаться даже более понятной для читателя, чем однократная катастрофа. В самом деле, вненаучные миры второго типа обладают некоторой *vis comitica*, потенциалом бурлеска, вполне применимым в литературе.

Примером здесь может послужить роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике»<sup>15</sup> — своеобразная смесь научной фантастики с битническими насмешкой и психоделией. Среди прочего в этом романе есть «генератор бесконечной невероятности» — машина, способная порождать самые что ни на есть абсурдные события, когда, например, две термоядерные ракеты превращаются в горшок с петунией и в кашалота, который предается размышлениям, пока летит в направлении ближайшей планеты. Тем не менее речь идет о машине, повинующейся некоторым законам — законам случайности: ведь двигатель продуцирует бесконечные «невероятности», а его изобретение вообще является плодом деятельности мышления, учитывающего вероятности, — мышления, которое, сколь бы ни была велика в нем (как и во всем романе) до-

<sup>15</sup> Адамс Д. Автостопом по галактике / пер. с англ. В. Баканова // Адамс Д. Автостопом по галактике/ М.: АСТ, 2005. С. 5-186.

ля шутки, остается связным<sup>16</sup>. К тому же, подобно любой машине, его можно включать и выключать, а потому он сам не может считаться беспричинным событием, по определению неуправляемым.

3. Наконец, третье решение: романы о нестойкой реальности, которая рассеивается, неуклонно утрачивая привычное для нас состояние. Как и в предыдущем, бурлескном варианте, повествование основывается на умножении разрывов, но это умножение следует по линии углубляющегося — и вызывающего гнетущее чувство — распада.

Здесь можно вспомнить один из шедевров Филиппа К. Дика — роман «Убик»<sup>17</sup>, где реальность постепенно утрачивает свою привычную связность. Персонажи этого романа сталкиваются с двумя сериями событий, которые не укладываются ни в какой вариант физики и подчиняют-

<sup>16</sup> В 10-й главе своего романа Адамс объясняет, что долгое время удавалось создать лишь генераторы конечной вероятности, пока одному студенту, занимавшемуся уборкой в лаборатории, где велись опыты, не пришла в голову идея вычислить конечную невероятность генератора бесконечной невероятности. План студента сработал, он прославился, но затем подвергся «линчеванию» со стороны «уважаемых» физиков, которые завидовали его успеху.

<sup>17</sup> Дик Ф. К. Убик / пер. с англ. А. Лазарчука. М.: Амфора, 2001.

ся двум гетерогенным «логикам». С одной стороны, вещи и живые существа стремительно стареют или деградируют: календарь внезапно желтеет, монеты, вроде бы только что бывшие в ходу, оказываются принадлежащими к другому веку, растение вянет сразу после покупки, тело молодой женщины за одну ночь превращается в мумию. С другой стороны, без какой-либо причины в самых неожиданных местах и ситуациях обнаруживаются портреты недавно убитого человека и другие напоминания о нем: его лицо появляется на монетах, его имя возникает на спичечных коробках и в телерекламе. Эта деструктуризация мира создает атмосферу кошмара, которая, как и бурлеск, может сопровождать миры ВНФ-2. Но опять-таки странные события в конце концов получают причинное объяснение: как выясняется, речь идет о психическом мире людей, которые обнаружили, что они тоже были убиты, но все же остались в полуживом состоянии благодаря заморозке, и теперь некий юноша, тоже находящийся в коме и наделенный чудовищными ментальными способностями, медленно пожирает их своим сознанием.

Итак, вот три возможных решения для романов ВНФ: катастрофа, бурлескный нонсенс и атмосфера навязчивой неопределенности. Однако

эти наброски вненаучности всякий раз нейтрализуются гетеродоксальной им логикой причин и оснований, характерной для научно-фантастического повествования.

## б) Прототип ВНФ

И все же мне удалось найти настоящий роман ВНФ, ошибочно отнесенный к жанру НФ и доказывающий, что жанр ВНФ может существовать и даже пользоваться стойкой популярностью. Я говорю о романе Рене Баржавеля «Опустошение»<sup>18</sup>.

Как и в предыдущих примерах, этот роман присоединяется к НФ-контексту и заражает его чуждой ему логикой. Но, в отличие от трех, описанных выше, он не «возвращается» в итоге под власть логики причин и оснований, которая могла бы удержать его под рубрикой НФ.

Действие «Опустошения» разворачивается в 2052 году, когда электричество внезапно перестает существовать или, по крайней мере, подавать какие-либо признаки существования. Однако, что примечательно, Баржавель практически не пытается объяснить этот феномен: он лишь описывает катаклизмы, вызванные им в Париже и Франции будущего, а также попыт-

<sup>18</sup> *Barjavel R. Ravage. Paris: Gallimard, 1996.*

ки главного героя и других персонажей выжить в сложившихся обстоятельствах. Конечно, персонажи порой высказывают научные или теологические догадки по поводу причин происшедшего (будь то божественная кара или изменение солнечных пятен), но ничто не подтверждает их выкладки, не идущие к тому же дальше туманных набросков. Существенно в романе лишь разрушительное влияние исчезновения электричества на «высокий город» (Париж, усеянный огромными небоскребами): пожары, крушения самолетов, нехватка воды, паника и мародерство — катастрофы, охватившие всю страну и описываемые автором на фоне бегства главных персонажей подальше от крупных городов. Мастерство Баржавеля проявляется в том, что он ведет захватывающий рассказ, который не оставляет ни читателю, ни персонажам, на которых сваливаются все новые непредвиденные последствия исчезновения электричества, времени на то, чтобы задуматься о его причинах.

Таким образом, двумя основными реакциями героев романа на катаклизм оказываются признание в полном непонимании происходящего и выдвижение гипотез, типичных для вненаучных миров второго типа. Первая из этих реакций выражена в словах профессора Портена, видного представителя науки, кото-

рая до катастрофы пользовалась авторитетом, а теперь обнаружила свою беспомощность. Портен обращается прямо на улице к толпе людей, которые узнают его, но в скором времени затопчут насмерть, поддавшись панике: «Электричество исчезло, поправ все законы природы и логики. Оно умерло — и теперь трудно поверить, что мы сами все еще живы. Безумие! Кошмар, идущий наперекор науке и разуму! Все наши теории, все наши законы рухнули»<sup>19</sup>. Вторую реакцию высказывает доктор Фок, который выступает в романе олицетворением «здорового смысла» посреди бедствия:

Электричество не исчезло, мой юный друг. В случае его исчезновения мы больше не смогли бы существовать и обратились в ничто вместе со всей Вселенной. <...> Происходящее связано с изменением поведения электрического тока. Каприз природы или предостережение Бога? Мы живем во Вселенной, которая кажется нам неизменной, потому что прежде она всегда подчинялась одним и тем же законам. Но все может поменяться в любой момент: сахар может стать горьким, свинец — легким, а камень, выскользнув из рук, может взлететь вместо того, чтобы упасть. Мы — ничто, юноша, и мы ничего не знаем...<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Barjavel R. Ravage. P. 123.*

<sup>20</sup> *Ibid. P. 151–152.*

Итак, все возможно, и все гипотезы остаются гипотезами, которым не дает ни подтверждения, ни опровержения никакой всезнающий автор: возможно, произошло отклонение от научных законов, а, возможно, просто «каприз природы», не исключающий глубинного участия некоего еще неведомого нам рационального порядка. Как мы уже говорили, во вненаучном мире второго типа нельзя формально исключить наличия законов, поскольку, как отмечал Лейбниц, говоря о неожиданных чудесах, которые на первый взгляд противоречат идее Промысла, заведомо обдуманного Богом, любое явное нарушение текущего порядка де-юре совместимо с неким более сложным порядком<sup>21</sup>. Главное, что сама идея объяснения

<sup>21</sup> Лейбниц опирается на это положение, чтобы обосновать отсутствие противоречия между чудом и представлением о мире, в котором изначально заложен постепенно разворачивающийся закон сочетания максимально возможного разнообразия явлений и максимального порядка (определение лучшего из миров). См.: Рассуждение о метафизике. 6: «Бог ничего не делает вне порядка, и то, что считается необычным, бывает таковым лишь по отношению к какому-нибудь частному порядку». Далее следует пример расстановки случайных точек на листке бумаги: «Если взять всеобщий порядок — все бывает согласно с ним. И это до такой степени верно, что не только не бывает в мире ничего абсолютно неправильного, но даже ничего подобного нельзя себе и вообразить.

оказывается лишена смысла в таком мире, а мыслями его обитателей полностью завладевают причуды окружающей среды, которая стала непредсказуемой и неузнаваемой.

Как известно, этот роман, заверченный автором в 1942 году и опубликованный годом позднее, зловеще перекликается с призывом «вернуться к земле», который выдвинул в военное время Петен\*. Действительно, книга Баржавеля пронизана ясно угадывающейся идеологией: Город с его гигантскими небоскребами изображает развращенный Вавилон, которому противопоставлена сохранившая нравственную чистоту сельская культура Верхнего Прованса, откуда и происходит главный герой, карикатурно снабженный говорящей фамилией: его зовут

Предположим, например, что кто-нибудь сделал бы на бумаге множество точек наугад вроде тех, кто занимается смешным искусством геомантики. Я утверждаю, что можно найти геометрическую линию, понятие о которой будет постоянным и единообразным соответственно некоторому правилу, и линия эта пройдет через все точки и в том же самом порядке, как их набросала рука» (*Лейбниц Г. В. Э. Рассуждение о метафизике* / пер. В. Преображенского // *Лейбниц Г. В. Э. Сочинения*: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 129).

- \* «Возвращение к земле» — один из принципов, провозглашенных во Франции коллаборационистским правительством маршала Петена во время Второй мировой войны, — подразумевало возможность продовольственного самообеспечения за счет ведения собственного хозяйства.

Франсуа Дешан\*. Таким образом, исчезновение электричества и связанной с ним науки преподносится не как однозначное бедствие, а, напротив, как благоприятная возможность для возрождения. Название романа — «Опустошение» — двусмысленно. Это слово ни разу не появляется на страницах книги и потому может обозначать как проявление упадка цивилизации, так и катастрофу, вызванную ее крушением. Совершив исход вместе с группой возглавленных им беглецов, Дешан возвращается на родную землю, чтобы основать там сельскую общину, верную идеалу здорового неведения, которое поможет людям избежать возврата к губительному знанию.

Очевидно, что за вненаучной фантастикой Баржавеля стоял целый политический пейзаж его эпохи, враждебный к науке, как и ко всей современности вообще. Так, одной из реакционных опор «Опустошения» могла, как мне кажется, послужить книга Леона Доде «Глупый XIX век». В этом получившем широкую известность памфлете 1922 года публицист, выступавший от имени «Французского действия»\*\*, об-

\* François Dechamps — букв. француз с полей.

\*\* «Французское действие» — крупная правонационалистическая и монархическая партия, активно действовавшая во Франции 1900–1940-х годов.

рушивается на ненавистные ему достижения предыдущего столетия — как в политике, так, пусть в меньшей степени, и в искусстве, и даже в науке. Развенчивая науку XIX века, Доде поднимается на вершины демагогии и выдвигает два взаимосвязанных аргумента: а) наука существовала всегда: парусное мореплавание, портновское ремесло, производство вина и хлеба — все эти традиционные занятия уже были научными, и именно они стали «неотторжимой основой цивилизованной жизни»; б) ни одно из открытий XIX века нельзя назвать столь «основательным и непреложным». Иными словами, в недавних открытиях есть некая ненадежность просто потому, что они представляют собой лишь внешние дополнения к подлинным основам нашей цивилизации. И далее следует решающий удар Доде: «Очевидно, что наука об электричестве, как и само электричество, может вспыхнуть и погаснуть, словно короткое замыкание интеллекта»<sup>22</sup>. Вне зависимости от того, читал ли Баржавель этот пасквиль, понятно, что идея и едва замаскированное навязчивое желание исчезновения современной науки, символизируемой электричеством, носились в воздухе — по край-

<sup>22</sup> *Daudet L. Le Stupide XIX<sup>e</sup> Siècle // Daudet L. Souvenirs et polémiques. Paris: Robert Laffont, 1992. P. 1191.*

ней мере, в определенных кругах — уже лет двадцать к моменту создания его романа.

Так или иначе, не будем игнорировать малопривлекательный контекст, в котором возник этот роман о вненаучном мире второго типа. Но добавим, что сильное произведение искусства всегда выходит за рамки предрассудков своего времени и даже своего автора. При этом Баржавель оказался достаточно умен, чтобы не объяснять причин описанного им катаклизма и не интерпретировать его в духе своих идеологических пристрастий: это и сделало «Опустошение» приключенческим романом, куда более интересным, чем современные ему реакционные измышления. Роман дает понять, что наука остается возможной: в конце появляется некий Дени (аллюзия на Дени Папена\*), заново изобретающий паровую машину и погибающий в наказание за это «преступление» от рук Дешана, ставшего патриархом не-науки. Возможность знания сохраняется как угроза нового открытия законов природы, а значит (почему бы и нет?), электричества. Остается возможным — учитывая библейский подтекст изложенной Баржавелем эпопеи — и то, что катастрофа была ка-

\* Дени Папен (1647–1712/1714) — французский математик и изобретатель, создатель одного из первых паровых котлов.

рой свыше, однако эта возможность тоже ничем не подтверждается. Не исключено, наконец, что исчезновение электричества явилось следствием чистейшего «каприза природы», который навлек на мир зловещее подозрение в полной абсурдности.

Также этот роман примечателен тем, что он очевидным образом представляет в виде природного катаклизма еще живо отзывавшуюся тогда в памяти историческую катастрофу — майское отступление французских войск в мае 1940 года\* с его трагическими последствиями, одним из которых стало ежедневное отключение света после шестнадцати часов в оккупированном Париже. Это пересекается с намеченным мною выше сравнением между вненаучными мирами второго типа и радикальной непредсказуемостью исторических событий: зыбкая почва побежденной нации приняла вид зыбкой почвы изменчивой природы. А если так, то примитивная политическая подоплека сюжета не столь уж важна: она не отменяет того, что составляет оригинальность «Опустошения», — его принадлежности к жанру ВНФ, где лишенный всяких оснований мир не мешает связности повествования.

\* Речь идет о массовом бегстве французской армии после поражения, нанесенного ей немецкими войсками в результате blitzkriega.

\*\*\*

Итак, вненаучная фантастика может стать полноценным жанром, поскольку она располагает целым рядом приемов, позволяющих удержать нить повествования вопреки всепроникающему хаосу вымышленного мира, и к тому же имеет реальный прототип, созданный в прошлом, но при этом отвечающий очерченным нами требованиям. Однако может ли этот жанр выйти за пределы вполне достойной, но все же узкой сферы юношеской или приключенческой литературы? Для этого, как мне кажется, следовало бы продвинуться дальше: взять традиционную научную фантастику в качестве отправной точки и начать ее разбирать, подтолкнув мир к вненаучному состоянию, а затем продолжить эту разборку, следуя в направлении все менее обитаемых миров и все менее возможного рассказа вплоть до той точки, когда на виду останутся одни отдельно взятые жизни, удерживаемые лишь силой собственного течения среди сплошных пустот. Жизнь сможет обретать ментальный опыт самой себя без помощи науки, и, возможно, в этом все более полном отрыве жизни и науки друг от друга обнаружится нечто пока неведомое и важное в отношении их обоих. Эйдетическая вариация, доходящая до порога удушья; опыт себя в мире, не прове-

ряемом на опыте. Зыбкая интенсивность, без конца погружающаяся в полное одиночество среди обломков — единственной среды, в которой ей остается искать истину существования без мира.

## Библиография

- Адамс Д.* Автостопом по галактике / пер. с англ. В. Баканова // Адамс Д. Автостопом по галактике / М.: АСТ, 2005. С. 5-186.
- Азимов А.* Бильярдный шар / пер. с англ. В. Тельникова // Азимов А. Сны роботов. М. : Эксмо, 2007. С. 453-482.
- Дик Ф. К.* Убик / пер. с англ. А. Лазарчука. М. : Амфора, 2001.
- Кант И.* Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского // Кант И. Сочинения : В 6 т. Т. 3. М. : Мысль, 1964.
- Лейбниц Г. В. Э.* Рассуждение о метафизике / пер. В. Преображенского // Лейбниц Г. В. Э. Сочинения : В 4 т. Т. 1. М. : Мысль, 1982. С. 125-163.
- Мейясу К.* После конечности : Эссе о необходимости контингентности / пер. с фр. Л. Медведевой. Екатеринбург ; М. : Кабинетный ученый, 2015.
- Поппер К.* Логика научного исследования / пер. с англ. В. Брюшинкина и А. Никифорова // Поппер К. Логика и рост научного знания ; Избранные работы. М. : Прогресс, 1983. С. 33-235.

- Поппер К.* Объективное знание : Эволюционный подход / пер. с англ. Д. Лахути. М. : Эдиториал УРСС, 2002.
- Юм Д.* Исследование о человеческом разумении / пер. с англ. С. Церетели // Юм Д. Соч. В 2 т. Т. 2. М. : Мысль, 1996. С. 3–144.
- Barjavel R.* Ravage. Paris: Gallimard, 1996.
- Daudet L.* Le Stupide XIX<sup>e</sup> Siècle // Daudet L. Souvenirs et polémiques. Paris: Robert Laffont, 1992.
- Rivelaygue J.* Leçons de métaphysique allemande. T. II. Paris: Grasset, 1992.
- Wilson R. C.* Darwinia / trad. Michèle Charrier. Paris: Denoël, 2000.

Научное издание  
Серия «Lineae»; вып. 2

В серии вышли следующие книги:

Такер Ю. Три текста о заражении

Мейясу К. Метафизика и вненаучная фантастика

Готовится к выходу:

Шавиро С. Меланхолия

Квентин **Мейясу**  
МЕТАФИЗИКА И ВНЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Научное издание



Издатели:

*Дмитрий Вяткин*  
*Яна Цырлина*

Дизайн и верстка:

*Дмитрий Вяткин*  
*Яна Цырлина*

Издательство «Hyle Press»  
e-mail: [hylepress@gmail.com](mailto:hylepress@gmail.com)

Подписано в печать 12.12.2020.  
Формат 80x100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная.  
Гарнитура Montserrat.  
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.  
Заказ № 528

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ».  
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гонча-  
рова, д. 14.

**В** настоящем эссе французский философ Квентин Мейясу развивает тему постоянства/непостоянства законов природы, рассматривая возможные отношения между хаосом и порядком в контексте литературного вымысла и трансцендентальной логики. Сталкивая позиции Юма, Канта и Поппера, Мейясу задается вопросом, что мы имеем в виду, когда говорим о «вымысле вненаучных миров», или о «вненаучной фантастике», и выделяет три типа миров: миры, где возможны и сознание, и наука; миры, где возможно сознание, а наука может быть невозможна; и миры, где невозможны ни сознание, ни наука. «Мы понимаем под вненаучными мирами такие миры, где экспериментальная наука невозможна де-юре, а не просто неизвестна де-факто. Вненаучная фантастика определяет особый режим воображаемого, в котором мыслятся миры, структурированные — или, скорее, деструктурированные — так, что экспериментальная наука не может ни разворачивать в них свои теории, ни конструировать свои объекты. Вненаучную фантастику направляет следующий вопрос: каким должен быть, на что должен быть похож мир, чтобы он был де-юре недоступен научному познанию, не мог стать объектом некоей науки о природе?»

ISBN 978-5-6043581-5-3



9 785604 358153

